

Семен Кирсанов

Зеркала

1965-1968

Зеркала

Повесть в двух планах

Зеркала —
на стене
Зеркала —
на столе
У тебя
в портмоне
в антикварном старье.

Не гляди!
Отвернись!
Это мир под ключом,
В блеск
граненых границ
кто вошел —
заключен.

Койка
с кучей тряпья,
тронный зал
короля —
всё в себя,
всё в себя
занесли зеркала.

Руку
ты подняла,
косу
ты заплела —
навсегда,
навсегда
скрыли их зеркала.

Смотрят два близнеца,
друг за другом следя.
По ночам —
 без лица,
помутнев как слюда,
смутно чувствуют:
 дверь,
 кресла,
 угол стола,
пустота!
 Но не верь:
не пусты зеркала!

Никакой
 ретушер
не подменит лица,
кто вошел —
 тот вошел
жить в стекле без конца.

Жизни
 точный двойник,
верно преданный ей,
крепко держит
 тайник
наших подлинных дней.
Кто ушел —
 тот ушел.
Время в раму втекло.
Прячет ключ
 хорошо
это злое стекло.
Даже взгляд,
 и кивок,

и бровей два крыла —
ничего!

Никого
не вернут зеркала! —

Сколько раз я тебя убеждал: не смотри в зеркала так часто. Ведь оно, это злое зеркало, отнимает часть твоих глаз и снимает с тебя тонкий слой драгоценных молекул розовой кожи. И опять все то же. Ты все тоньше. Пять ничтожных секунд протекло, и бескровно какая-то доля микрона перешла с тебя на стекло и легла в его радужной толще. А стекло — незаметно, но толще. День за днем оно отнимает что-то у личика, и зато увеличиваются его семицветные грани. Но, может, в стекле ты сохранней? И оно как хрустальный альбом с миллионом незримо напластанных снимков, где то в голубом, то в зеленом приближаешься или отдаляешься ты? Там хранятся все твои рты, улыбающиеся или удивляющиеся. Все твои пальцы и плечи — разные утром и вечером, когда свет от лампы кладет на тебя свои желтые лапы... И все же начала ты убывать. Зачем же себя убивать? Не сразу, не быстро, но верь: отражения — это убийства, похищения нас. Как в кино, каждый час ты все больше в зеркальном своем медальоне и все меньше во мне, отдаленней... Но —

в зеркалах не исчезают
ничьи глаза,
ничьи черты.

Они не могут знать,
не знают
неотраженной пустоты.

На амальгаме
от рожденья
хранят тончайшие слои
бесчисленные
отраженья
как наблюдения свои.

Так,
хлорвиниловая лента
и намагниченная нить
беседы наши,
споры,
сплетни,
подслушав,
может сохранить.

И с зеркалами
так бывает...
(Как бы свидетель не возник!)
Их где-то,
может,
разбивают,
чтоб правду выкрошить из них?

Метет
Метет история
осколки
и крошки битого стекла,
чтоб в галереях
в позах стольких
ложь фигурировать могла.

Но живопись —
и та свидетель.
Сорвать со стен ее, стащить!
Вдруг,

как у Гоголя
в «Портрете»
из рамы
взглянет ростовщик?..

В серебряной
овальной раме
висит старинное одно —
на свадьбе
и в дальнейшей драме
присутствовало и оно.

За пестрой и случайной сменой
сцен и картин
не уследить.
Но за историей семейной
оно не может
не следить.

Каренина —
или другая,
Дориан Грей —
или иной,—
свидетель в раме,
наблюдая,
всегда стоял за их спиной.

Гостям казалось:
все на месте,
стол с серебром
на шесть персон.
Десятилетия
в том семействе
шли,
как счастливый,
легкий сон.

[illegible]

К гостям — в обычной милой роли,
к нему с улыбкой, как жена,
но к зеркалу — гримаса боли
не раз была обращена.

К итогу замкнутого быта
в час панихиды мы придем.
Но умерла или убита —
кто выяснит? Каким путем?

И как он выглядит, преступник
(с платком на время похорон),
кто знает, чем он вас пристукнет:
обидой, лаской, топором?

Но трещина, изломом призмы

рассекшая овал стекла,
как подпись
очевидца жизни
минувшее пересекла,

И тускло
отражались веки
в двуглавых зеркальцах монет.
Все это
спрятано навеки.
Навеки, думаете?
Нет! —

Все это в прошлом, прочно забытом. Время его истекло, И зеркало гаснет в чулане забитом. Но вот что: тебя у меня отнимает стекло. Нас подло крадут отражения. Разве в этой витрине не ты? Разве вон в том витраже не я? Разве окно не украло твои черты, не вложило в прозрачную книгу? Довольно мелькнуть секунде, ничтожному мигу — и вновь слистали тебя. Окна моют в апрельскую оттепель, переплеты прозрачных книг. Что в них хранится? И дома — это ведь библиотеки, где двойник на каждой странице — то идет, то поник. Это страшно, поверь! Каждая дверь смеет иметь свою тень! Тысячи стен обладают тобою. Оркестр на концерте тебя отражает каждою медной и никелевой трубою. Столовый нож, как сабля наголо, нагло сечет твой рот! Все тебя здесь берет — и когда-нибудь отберет навеки. И такую, как ты, уже не найдешь ни на одной из планет. Как это было мною сказано? —

«И тускло

отражались веки
в двуглавых зеркальцах монет.
Все это
спрятано навеки.
Навеки, думаете?
Нет!»

Все в нашей власти,
в нашей власти.
И в антикварный магазин
войдет
магнитофонный мастер,
себя при входе отразив.

Он изучал
строенье трещин,
он догадался, как постичь
мир отражений,
засекреченный
в слоях невидимых частиц.

Там —
среди редкостей витрины,
фарфора,
хрусталя,
колец —
заметит он овал старинный,
вглядится,
вспомнит наконец
пятно,
затерянное в детстве,
завешанное кисеей,
где,
как пропавшая без вести,
она исчезла...

Где ж ее
глаза
открывшиеся утром
(но их закрыть не преминут),
и где
последняя минута,
где предыдущих пять минут?

Ему тогда сказали:
— Выйди!
И повторили:
— Выйди прочь!
Кто ж,
кроме зеркала,
увидел
то, что случилось в эту ночь?

С изъяном зеркальце,
учтите.
А, с трещиной... Предупрежден...
— Вы редкости, я вижу, чтите.,.

Домой,
под проливным дождем,
домой,
где начат трудный опыт,
где блики в комнате парят,
где ждет,
как многоглазый робот,
с рентгеном схожий аппарат,
где, зайчиком отбросив
солнце,
всю душу опыту отдаст

живущий
в вечном эдисонстве
и одиночестве — фантаст.—

Но путь испытателя крут, особенно если беретесь за еще не изведанный труд. Сначала—гипотеза, нить... Но не бойтесь гипотез! Лучше жить в постоянных ушибах, спотыкаясь, ища. Но однажды сквозь мусор ошибок выглянет ключ. Возможно, что луч, ложась на стекло под углом, придает составным особый уклон, и частицы встают, как иглы ежа: каждая — снимок, колючий начес световых невидимок. Верно ли? Спорно ли? Просто, как в формуле:

$$n^2 = 1 + \frac{4\pi Ne^2}{K}$$

(эн квадрат равняется единице плюс дробь, где числитель четыре пи эн е квадрат, а знаменатель некое K?).

Но цель еще далека, а стекло безответно и гладко. Но уже шевелится догадка! Что, если выпрямить иглы частиц, возвратить, воскресить отражение? Я на верном пути! Так идти — от решения к решению, ни за что не назад! Нити лазеров скрещиваются и скользят. Вот уже что-то мерещится! —

Покроет
серебристый иней
поверхность света и теней,
пучки
могущественных линий
заставит он
скользить по ней.

жизнь,
 что историки искали,
в себе,
 как стенопись,
 хранят?

Быть может,
 сохранили стены
для нас,
 для будущих времен,
на острове Святой Елены
как умирал
 Наполеон?

И в крепости Петра и Павла,
где смертник
 ночь провел без сна,
ничто для правды
 не пропало,
и расшифровки ждет стена,

а «Искры» ленинской
 страница
засняла между строк своих
над ней
 склонившиеся лица
в их выражениях живых?

Как знать?
 Окно дворца Растрелли
еще свидетелем стоит
январским утром
 при расстреле?

А может быть,

как сцены битв
вокруг Траяновой колонны —
картины
 стачек и труда
и Красной гвардии колонны
несет
 фабричная труба?

И может быть,
 в одной из комнат
не в силах потолок забыть,
что Маяковский
 в пальцах комкал,
что повторял... И может быть,

валун в пустыне каменистой,
куда под стражей
 шли долбить,—
партсбор
 барачных коммунистов
запечатлел... И может быть,

на стеклах дачи подмосковной
свой френч
 застегивает тень
того,
 чей взгляд беспрекословный
тревожит память
 по сей день?

Но, может,
 и подземный митинг
прочнее росписей стенных

еще живет
 под гром зениток
на арках мраморно-стальных?

Все может быть!
 Пора открытий
не кончилась.
 Хотите скрыть
от отражений суть событий,—
зеркал побойтесь,
 не смотрите:
они способны все открыть.—

Стой, застынь, не сходи со стекла, умоляю! Как ты
стала мала и тускла! Часть лица начинает ковер-
каться. Кончились отражения зеркальца, оно про-
чтено до конца. Пустая вещица! Появилась на ней
продавщица ларька, наклоняясь над вещами... И в
перчатке — твоя, на прощанье, рука...—

Зеркала —
 на стене,
зеркала —
 на столе,
мир погасших
 теней
в равнодушном стекле.

В равнодушном?
 О, нет!
Словно в папках
 «Дела»
беспристрастный ответ
могут дать
 зеркала.

от улик
 не уйдешь,
помнят всё
 зеркала.

Со стены —
 упадет,
от осколков —
 и то
никуда не уйдет
кто бы ни был —
 никто.

«Остановись, мгновенье...»

Старые фотографии

Я наблюдал не раз
жизнь
старых фотографий,
родившихся
при нас
в Октябрьском Петрограде.

В начале наших дней
в неповторимых сценах
остановился
миг
на снимках драгоценных.

Они скромнее книг,
но душу мне тревожит
печаль и боль,
что миг
продлиться в них не может...

Как пожелтел листок
из тонкого картона!
Вот
людям раздают
винтовки и патроны.

Вот,
выставив штыки,
глазасты и усаты,

глядят
с грузовика
восставшие солдаты...

Вот
площадь у дворца,
и, может, выстрел грянул —
так строго
в объектив
красногвардеец глянул...

Вот
наискось летит
матрос, обвитый лентой,
и то, что он убит,
всем ясно,
всем заметно...

Вот
женщина в толпе
перед могилой плачет,
но мокрые глаза
она под шалью прячет...

Вот парень
на столбе
над невским парашетом,
он машет картузом,
крича:
«Вся власть Советам!»

Вот
понесли плакат
две молодых студентки,...

Вот
 поднялся матрос
и лег живой на цоколь,
чтоб грудью отстоять
от немцев
 Севастополь,...

Сошли с грузовика
солдаты
 из отряда
с гранатами — в окоп,
в обломки Сталинграда...

И две студентки, две
наивных недотроги,
снаряды
 повезли
по ледяной дороге...

Теперь они сдают
экзамен в институте —
другие,
 но они,
такие же по сути...

Вот женщина сошла
со снимка
 в час суровый
и в школьный зал вошла
учительницей новой...

И парень
 на столбе
телевизионной вышки

приваривает сталь
под молнийные вспышки.

И глянул в объектив
нестрого и неловко
похожий
на того
прохожего с винтовкой,

но он держал чертеж
в конверте из картона —
ракеты,
что взлетит
звездой десятитонной!

О снимки!
Снова в них
заулыбались лица!
Но я и знал,
что миг
не мог остановиться,

что Ленин
написал
под новью наших планов
знакомые слова:
Согласен,
В. Ульянов...

Я прохожу в музей,
я прикоснуться
вправе
к листовкам первых дней,
к квадратам
фотографий.

Они глядят со стен
и подтверждают
сами,
что тот, кто был ничем,
стал всем
и всеми нами!

а за подписями щита —
знаменитые строки
слушали,
знаменитые —
шли читать.

Был Каменский,
два пальца свиста
он закладывал в рот стиха,
был творец
«Лейтенанта Шмидта»,
и — чего уж таить греха —

за фанерой
дверного ребуса,
на партнера кося глаза,—
с Маяковским
Асеев резался,
выходя на него с туза.

Королями
четырежды
отбиваясь с широких плеч,
Маяковский
острил за картами
(чтоб Коляду
от карт отвлечь).

Но Коляда
лишь губы вытянет
и, на друга чуть-чуть косясь,—
вдруг из веера
даму вытянет
и на стол —
козырей пасьянс!

Вот ночные птицы
закаркали,
вот каемка зари легла...
Только ночь
не всегда за картами,
не всегда здесь велась игра.

Стекля вздрагивали
от баса,
под ногами дрожал паркет,
так читался
«Советский паспорт» —
аж до трещин на потолке.

Над плакатами
майских шествий
в круглом почерке воскресал
и всходил на помост
Чернышевский,
мчались сани
синих гусар.

Если только
тех лет коснуться —
выплывают из-под строки
мейерхольдовские
конструкции,
моссельпромовские ларьки,
тень «Потемкина»
на экране,
башня Татлина
в чертеже,
и Республики воздух ранний,
пограничник
настороже...

стучится к нам,—
в наше место
встает поэзия,
с перекличкою по рядам.

Мы не урны,
и мы не плиты,
мы страницы страны,
где мы
для взволнованных глаз открыты
за незапертыми
дверьми.

Признания

* * *

Эти летние дожди,
эти радуги и тучи —
мне от них
 как будто лучше,
будто что-то впереди.

Будто будут острова,
необычные поездки,
на цветах —
 росы подвески,
вечно свежая трава.

Будто будет жизнь, как та,
где давно уже я не был,
на душе
 как в синем небе
после ливня — чистота.

Но опомнись — рассуди,
как непрочны,
 как летучи
эти радуги и тучи,
эти летние дожди.

Бесстрашье

Бессмертья нет —
и пусть!
На кой оно — «бессмертье»
Короткий
жизни спуск с задачей сораз-
мерьте

Признаем,
поумнев:
ветшает и железо!
Бесстрашье —
вот что мне
потребно до зареза.

Из всех известных чувств
сегодня,
ставши старше,
я главного хочу —
полнейшего
бесстрашья —

перед пустой доской
неведомого
завтра,
перед слепой тоской
внезапного
инфаркта,

перед тупым судьей,
который
лжи поверит,
и перед злой статьей разносною,
и перед

Хочу родиться

Хочу родиться дважды,
а если можно —
трижды.

Но жить —
не в стаде жвачных,
такой не мыслю жизни.

Но кстати —
если в стаде,
то в табуне степном,
где ржанье,
топот,
статии и пыль под скаку-
ном.

Кабы такие б лица —
где из ноздрей —
огонь!

Где бой за кобылицу —
в смерть загоню —
не тронь!

Хочу родиться дважды,
чтоб пена
на боках,
но ни за что —
в упряжке
на скачках и бегах.

Мой предок

Мой предок пещерный! Ты — Я.

Я факт твоего бытия.
Мы признаки сходства несем
в иероглифах хромосом,
где запрограммировал ты
бесчисленных внуков черты.

И если я ныне живу —
то значит, ты был наяву,
ты бился, ты подлинно был,
ты шкуру у волка добыл,

ты камень калил докрасна
у первого в мире костра —
чтоб я не замерз, не продрог,
чтоб выжить и вырасти мог

и как воплощение твое —
свое ощутил бытие!

И пусть,

когда няням вручат
твоих
пра-пра-пра-правнучат,—

я буду как соль растворен в
бегущих
из разных сторон
в мальчишках
и в девочках всех
и вкраплен в их игры и смех.

Я буду присутствовать в них
миллиардом
твоих составных
частиц,
составлявших меня
до вздоха последнего дня.

И дней твоей жизни
не счесть,
пока человечество есть.

Сердце

На яблоне
 сердце повисло мое.
Осеннее мерзлое яблоко
сквозной червоточиной
 высверленное.

Но может случиться
 немыслимое;
раскинется
 райская ярмарка
с продажей всякого яркого.
В лотках —
 плодородье бесчисленное.
Все яблоки —
 с детскими ямками!

И вдруг ты заметишь
 на ярмарке
мое — ни одной червоточкины,
румянец,
 не тронутый порчею,

И гладишь
 рукою утонченной.
И нет —
 не отбросила прочь его,
но яблоко
 в радужных капельках
на ветке, увешанной листьями,—
мое-
 выбираешь из прочего.

Но это же
 чудо немыслимое!
Окончилась райская ярмарка.

На яблоне
сердце повисло мое —
осеннее мерзлое яблоко.

Шестая заповедь

В ночь, бессонницей обезглавленную,
перед казнью моей любви —
я к тебе простираю
главную
заповедь:

«Не убий».

Не убий
ни словом,
ни взглядом.

Ни вдали,
ни когда мы рядом.

Беатриче,
Лаура,
Лючия —

адам Данте
и всем, что мучило,

и дуэлью
среди снегов,

и шинелью,
снятой с него

секундантами на опушке,
на

могиле,

Наталия Пушкина,
заклинаю,
ступни обвив,

не убий,
не убий любви.

Ни открыто,
ни мысленно

не убий!

Ни безжалостностию,
ни милостыней

не убий!

Лаура моя,
дорогая моя,
целуемая
и ругаемая,
но под солнцем и звездами
лучшая,

Беатриче,
Наталия,
Лючия,
милосердная
и жестокая,

аще столько я
претерпел
в сей День Седьмый,
умоляю тя —
не убий!

Не сбивавшего
цвет с растения,
не замешанного
в растлениях
и в терзавших
Спасителя
терниях —
не виновного —
не убий.

Умоляю тя:
пощади
во мне
дитя,
не казни своего дитяти —
сердце
в люльке моей души,
не круши его,

не убей,
как нельзя казнить голубей...
Не должна
 подлежать петле
белка,
 дремлющая в дупле,
и стучащий о древо
 дятел,
и катающимся у ног
 щенок,
кенгуренок,
 залегший в чрево,
и скользящий травой уж,
и дельфин,
 мореходец быстрый,
и червяк дождевой у луж
не должны
 подлежать убийству —
пусть живут,
 пусть летят,
 плывут...

А любовь
 ведь твое дитя.
Не казни,
 умоляю ты —
В смертной камере
 одинокчества
и стена наедине —
при бессоннице,
 среди ночи встав,
я хожу от стены к стене,
на тюремном полу
 в персти
простираю к тебе персты...
Ни одной обиды

не помнящий,
ожидающий скорой помощи,
если я позову — «приди»,
ты приди
и коснись груди,
где любовь лепечет —
«жива еще»,
и скажи:
— Человек, гряди, —
Я гряду,
почти умирающий,
подымая, как веки Вий,
руки слабые,
умоляющие:
Не убий любви,
не убий.

Очки

Сновиденье
явилось извне,
заложило две линзы в ресницы.
Но к чему
эти призраки мне?
И могло ли
такое присниться —

будто вышел
на улицу я,
оказался в потоке прохожих.
Мимо двигалась
лиц толчая,
лиц,
одно на другое похожих.

Чем? —
я понял.
Исчезли зрачки.
Ни единого взора и взгляда.
Лишь очки,
и очки,
и очки...
Но зачем и кому это надо?

У одних —
непрозрачно блестя,
нечто черное было надето.
Им —
игравшее мило дитя
представлялось
досадным предметом.

Им казалось —
 все лица грязны,
и на мрачные их низколобья
чистый снег
 молодой белизны
опускал мутно-черные хлопья.

У других — эти стекла могли
все показывать в розовом свете.
Даже окон подвальных углы
красовались,
как розы в расцвете.

Их носивший
был всем умилен,
как немедленно после получки.
Ящик с мусором и утилем
превращался
в «Привет из Алушты».

Некто шел
и на каждом из лиц
останавливал строгое зренье,
вроде камеры сдвоенных линз
он носил
два стекла подозренья.

А другой —
на тревожных глазах,
чтоб никто не заглядывал в душу, —
в два овала
оправленный страх
перед каждым навстречу идущим.

Шел один,
 никакой не злодей,
и очки не казались зловещи.
Но он ими не видел людей!
Только вещи,
 витринные вещи!

Я потрогал свои —
 и нашел
вместо яблок в орбитах скользящих
нечто вроде
 оптических шор,
искажающий зрение ящик.

Я же знаю,
 что вижу и лгу
сам себе
 и что все непохоже!
А вот шоры сорвать не могу,
так срослись
 с моей собственной кожей,

О товарищи,
 люди,
 друзья,
поскорей свои очи протрите,
отворите,
 разденьте глаза
и без стекол на мир посмотрите!

Этот мир
 не лишен красоты,
иллюзорны испуг и угрозы,
может быть,
 мы добры и просты
и под стеклами теплятся слезы?

Любезность

Любезность —
не любовь.

А ну ее, «любезность»!

Живут,
не хмурия лбов,
любезные — и без нас.

Лобзать
и не любить?

И лебезить при этом?

Я не любитель
быть
объятий их объектом.

Спасаящая нас
любовь —
не резонерство,
и в самый тяжкий час
любезность
резанет вас.

Любезность —
лишь под цвет
любовей настоящих, —
вбегающих
чуть свет
и для тебя не спящих,

не смеющих
тебя
в опасный час покинуть,
готовых
хоть с себя

жизнь,
как рубашку, скинуть!
Таких —
в нужде,
в войне —
хочу я видеть снова—
не говорящих
мне
любезного — ни слова!

Волшебная комната

У меня, в волшебной комнате,
по соседству, за стеной
есть колпак —
 звезда на конусе,
есть халат —
 обшит Луной.

Есть набор волшебных палочек,
банка духов и чертей,
и полдюжины —
 из прачечной —
самобранок-скатертей.

Рядом с кошкой в черном кителе
сидит вещая сова
и корректно —
 посетителям
говорит:
 — Comment ça va?

Когда книжки и учебники
на ночь
 гасит абажур —
я в ту комнату волшебную
с младшим сыном
 прихожу.

В этой комнате позволено
без оплаты никакой —
сколько хочешь —
 звезд из золота
брать из воздуха рукой,

можно голубя воркующего
мигом вынуть из плаща,
воздух в розы,
воду в кружево
можно просто превращать.

Тут пластинки могут делаться —
под шарманку с тишиной
на столе
танцует девочка
с незабудку вышиной.

Сыну я сказал:
— Пожалуйста,
вот тебе заветный ключ,
вот тебе — металл пронзающий
голубой волшебный луч.

Захотел алмаз —
пожалуйста,
молви слово и добудь!
Только здесь нельзя
из жадности
в сумку прятать что-нибудь.

Можешь вызвать
духов сказочных,
научить работе их,
только здесь нельзя
заважничать
и кричать нельзя на них.

Видишь палочку —
пожалуйста,

делай все из ничего,
только здесь нельзя — безжалостно —
бить и мучить — никого!

А не так — без возвращения,
без приметы, без следа —
эта комната волшебная
вдруг исчезнет
навсегда.

Фокусник

Я бродячий фокусник,
я вошел во двор,
расстелил я
с ловкостью
редкостный ковер.

Инвалиды, школьники,
чем вас удивить?
Вот — червонцы новенькие
начал я ловить!

Дворничихи в фартуках,
гляньте из окон —
вот я
 прямо с факела
стал глотать огонь!

Вот обвился лентами
всех семи цветов,
вот у ног
по-летнему
вырос сад цветов!

Видите ли, видите ли —
сдернул с головы...
Из цилиндра вылетели
голуби —
лови!

Я взмахнул похожим на

Художник

Художник —
этакий чудак,
но явно —
с дарованьем,
снимает нежилой чердак
в домишке деревянном.

Стропила ветхи и черны
в отрепьях паутины,
а поздней ночью
у стены
шуршат его картины.

Картины странного письма
шуршат,
не затихая:
— Ты кто такая?
— Я сама
не знаю, кто такая...

Меня и даром не продашь,
как «Поле на рассвете».
Я не портрет,
я не пейзаж,
но я живу на свете.

Другая застонала:
— Нет,
ты все же чем-то «Поле»,
а я абстрактна,
я портрет
неутолимой боли...

А третья;
— Это все одно,
портреты или виды.
Вот я — пятно,
но я пятно на
сердце, от обиды.

Четвертая:
— Пусть обо мне
твердят, что безыдейна.
Но я пейзаж
души во сне,
во сне без сновиденья.

И пятая:
— Кто любит сны,
меня же тянет к спектру,
и я —
любовь
голубизны
к оранжевому цвету.

Шестая:
— Вряд ли мы поймем,
что из-под кисти выйдет,
зато меня
в себе самом
всю ночь художник видит!

Я в кем живу,
я в нем свечусь,
мне то легко, то трудно
от красками плывущих чувств,
хотя я холст
без грунта.

Его задумчивых минут
ничем я не нарушу —
пусть он сидит,
глазами внутрь
в свою цветную душу.

Природа так щедра!
Я взял
и за оконце
подбросил вверх щегла.

Летите,
мчитесь вместе
к друзьям своим лесным!
Смотрю —
один на месте,
смотрю —
второй за ним,

и ну, к кормушке —
пичкать
зерном свои зобы.

Привычка
есть привычка —
к превратностям судьбы.

Я ищу прозрачности,
а не призрачности,
я ищу признательности,
а не признанности.

Больничная тетрадь

Больничный сон

Спи-
чка,
Спи-
ртовка,
шприц с па-
нтапоном...

Спи, усни,
плыви через песчано-пустынные Спи
в спокойную теплую Сплю.

И пусть за спи-
нкой кровати
стоит полнейшая Спишь.

Бессонница заперта на крючок
в бессонно урчащей уборной.

Сплю-
щив подушку, сплю
со спущенною рукою
в Снись.

Сон — слон, десять слонов, сто слонов, сон — склад-
чатокожее, огромнокаменное многослоновье, сон —
огромноокое глазоухощеконосодышащее *сплю*
на подушечной отмели снов, и глаза мои соннные
спящерицы.

Сплю без просьбы, сплю без просыпа,
сплю, как слит, вздыхая, госпиталь,
и — кто доктора, кто господа...

Сплю, как чумные селения
спят и видят исцеление.
Сплю, как спят дубы столетние

перед рубкой. Как, по-заячьи,
никаких забот не знающие,
спят в сугробах замерзающие.

«Привет!»

Человек
ест чебурек.
Ножа вонзает лезвиеце.
Чебурек разрезывается,
и чебурека нет,
«Привет!»

Человек
кричит о помощи!
Карета Скорой помощи.
Раз!
В живот вонзают лезвиеце,
и человек
раз-
резывается.
Два!
И человека нет,
«Привет!»

В разрезе

Разрез по живому — живой разрез.

Рез — раз!

Раз! — улей, топором разрубленный,
судороги

обезглавленных и обескрыленных пчел.

Разрушенный бомбардировкой дом,
где изразцы висят в разрезе.

Рез-

екция живого и дышащего мяса,

резинки мышц и нервов,

разгромленные витражи соборов,

разрезанные автогеном рельсы,

разбитые шпалы,

резкие визги разодранного железа,

развод, разрыв, разлад,

разрез.

Соседняя койка

Забывается все,
забывается.

Мозг шумит о пропаже и краже,
забывается, даже
как гвоздь забивается.

Забывается
где и когда?

И как мышь от кота
в уголок забивается,
и как пылью
часов механизм забивается,
забывается с кем и при ком?

И как стонущий вол
мясником забивается
для жарких и приправ...

Забывается все —
и, к подушке припав,
умирающий сном забывается.

Окно

Окно.

Оно мое единственное око.

Окружность неба, окаймленность мира.

Оконной рамы окающий рот.

Околыш крыши над палатой.

Окраска охрой.

Оконченность всего.

Окно!

Открытое

на оконечности материков!

На окороченности времени-пространства!

На окружную шоссеиную дорогу,

где около околиц

катятся на буквах о —

колонны грузовиков!

Окидывать их взором.

Окрашиваться цветом зарев.

Окапывать далекие деревья.

Окольцовывать летящих горлиц,

падая лицом на подоконник,

околевать

на пустырях окраин.

Окно!

О, как величественно чудо

единственного для меня пейзажа!

Окраины окроплены туманом!
Об окна трутся клены!
О кроны их,
о корни!
Облака окатывает океан небес,
О, окно!
Пока ты около —
я не окончен.

Боль болей

Боль больше, чем бог,
бог — не любовь, а боль.
Боль, созидаящая боль
и воздвигающая боль на боль.
Боль болей — бог богов.

(Боль простит.)

(Боль подаст.)

(Боль — судья.)

Боль — божество божеств,
ему, качаясь, болишься,
держась за болову,
шепча болитвы;
— Боже боли!

Или́ или́ лама́ савахфа́ни?

(на кого ты оставил мя, Госпиталь?)

Да свершится боля Твоя.

Никударики

Время тянется и тянется,
люди смерти не хотят,
с тихим смехом:
— Навсегданьяца! —
никударики летят.

Не висят на ветке яблоки,
яблонь нет,
и веток нет.
нет ни Азии,
ни Африки,
ни молекул,
ни планет.

Нет ни солнышка,
ни облака,
ни снежинок,
ни травы,
ни холодного, ни теплого,
ни измены,
ни любви.

Ни прямого,
ни треугольного,
ни дыханья,
ни лица,
ни квадратного,
ни круглого,
ни начала,
ни конца.

Никударики,
куда же вы?

Мне за вами?

В облака?

Усмехаются:

— Пока живи,

пока есть еще «пока».

Опять пуста скамья,
опять закат лиловат,
и перед всеми я
кругом-кругом виноват.

Опять пустует сад,
где осень ждет конца,
лишь два листка висят,
как высушенные сердца.

Одних — не так любил
и разобидел их,
одними — не понят был,
не понял сам — других.

А если — подход не тот?
И не велика вина?

Но жизнь —
как этот вот
пустой стакан вина.

Отец

Мне снилось,
 что я мой отец,
что я вошел ко мне в палату,
принес судок домашних щец,
лимон и плитку шоколаду.

Жалел меня
 и круглый час
внушал мне мужество и бодрость,
и оказалось,
 что у нас
теперь один и тот же возраст.

Он —я
 в моих ногах стоял,
ворча о методах леченья,
хотя уже —
 что он, что я
утратило свое значенье.

Хоть бы эту зиму выжить,
пережить хоть бы год,
под наркозом, что ли, выждать
свист и вой непогод,

а очнуться в первых грозах,
в первых яблонь дыму,
в первых присланных мимозах
из совхоза в Крыму.

И в саду, который за год
выше вырос опять,
у куста, еще без ягод,
постоять, подышать.

А когда замрут навеки
оба бьющихся виска,
пусть положат мне на веки
два смородинных листка.

Строки в скобках

Жил-был — я.
(стоит ли об этом?)
Шторм бил в мол.
(молод был и мил...)
В порт плыл флот,
(с выигрышным билетом
жил-был я.)
Помнится, что жил.

Зной, дождь, гром,
(мокрые бульвары...)
Ночь, Свет глаз,
(локон у плеча...)
Шли всю ночь,
(листья обрывали...)
«Мы», «ты», «я»,
нежно лепеча.

Знал соль слез,
(пустоту постели...)
Ночь без сна —
(сердце без тепла)
гас как газ
город опустелый,
(взгляд без глаз,
окна без стекла.)

Где ж тот снег?
(как скользили лыжи!)
Где ж тот пляж?

(с золотым песком!)

Где тот лес?

(с шепотом — «поближе»)

Где тот дождь?

(«вместе, босиком!»)

Встань. Сбрось сон.

(не смотри, не надо...)

Сон не жизнь,

(снилось и забыл.)

Сон как мох

в древних колоннадах.

(жил-был я...)

Вспомнилось, что жил.

Уже светает поздно,
холодноват рассвет.
Уже сентябрь опознан
в желтеющей листве.

Не молят о пощаде,
дрожа перед судьбой,
а шепчутся
«прощайте»
цветы между собой.

Ответ

Хотя финал не за вершиною —
да будет жизнь незавершённою,
не конченной, не совершённою,
задачей, в целом не решенною.

Пусть,
как ковер из маргариток,
без сорняков и верняков —
ждет на столе,
неразбериха
разрозненных черновиков.

И стол мой
письменный не дот,
и кто захочет —
пусть берет.

Он календарь на нем найдет
с делами на сто лет вперед.

Жить мне хотелось
на пределе —
с отчаяньем в конце недели,
что вновь
чего-то недоделал,
что воскресенье
день без дела.

И не спешил сдавать в печать,
а снова — новое начать.

Поэтому.
 между поэтами
заметят:
 «был богат проектами».

В числе
 лужаек недокошенных,
в числе
 дорожек незахоженных —
пусть я считаюсь
 незаконченным,
и в том не вижу
 незаконщины!

Я не желаю жить задрами
воспоминаний
 дорогих,
но кучу планов и заданий
хочу оставить
 для других.

Беритесь —
 не страшась потерь.
А я —
 вне времени —
 теперь.

Возвращение

Я год простоял в грозе
расшатанный, но не сломленный.
Рубанок, сверло, резец —
поэзия,
ремесло мое!

Пила!
На твоей струне
заржавели все зазубрины,
бездействовал инструмент
без мастера,
в ящик убранный.

Слова,
вы ушли в словарь,
на вас уже пыль трехслойная.
Рука еще так слаба —
поэзия,
ремесло мое!

Невыстроенный чертог
как лес,
разреженный рубкою,
желтеющий твой чертеж
забытою свернут трубкою.

Как гвозди размеров всех
рассыпаны
краесловия.
Но как же ты тянешь в цех —
поэзия,
ремесло мое!

К усталым тебя причли,
на койках
бока отлежаны,
но мысли уже пришли
с заказами неотложными.

Хоть пенсию пенсий дай —
какая судьба
тебе с ней?
Нет, алчет душа труда
над будущей
Песнью Песней!

Не так уже ночь мутна.
Как было
всю жизнь условлено
буди меня в шесть утра,—
поэзия,
ремесло мое!

На былинных холмах

На былинных холмах

В Южной Астрофизической Обсерватории
на былинных холмах
купола —
как славянские головы в древних шеломах
в чернобыль и татарник
погружены.

Эти головы медленно поворачиваются
от забытых курганов
к Весам и Стрельцу,
На гравюрах к поэме «Руслан и Людмила»
я их видел
в издании для детей.

Они думают
снимками фотографическими
и незримые звезды упорно рассматривают,
мыслят
линиями спектральных анализов,
чуют пятна спиральных галактик,
но в сущности —

это головы сказочных богатырей,
в незапамятных сечах
мечами отрубленные.
Пушкин их рисовал,

над стихами задумавшись,
на полях своих вещей черновиков.

Но и эти
пером испещренные рукописи
тоже снимки следов
нуклеарных частиц.. Черномор —
это черные клочья туманности,
где в сетях изнывает Людмила звезды.

Там за нею следят
и притворно прислуживают
голубые гиганты
и желтые карлики,
а сверхплотное тело, сидящее в центре,
тащит всю эту челядь к себе.

Это все раскрывается после двенадцати
в сновидениях спящих богатырей,
когда под
заколдованным мирозданием
светят только карманные фонари,

чтобы нимбы вечернего освещения
не мешали
поэтам и наблюдателям
в Южной Астрофизической Обсерватории
на былинных холмах.

Туман в обсерватории

Весь день по Крыму валит пар
от Херсонеса
до Тамани.

Закрыт забралом полушар —
обсерватория в тумане.

Как грустно!
Телескоп ослеп,
на куполе капель сырая,
он погружен в туман, как склеп
невольниц,
звезд Бахчисарая.

В коронографе,
на холме,
еще вчера я видел солнце,
жар хромосферы,
в бахроме,
в живых и ярких заусенцах.
Сегодня все задул туман,
и вспоминаю
прошлый день я
как странный зрительный обман,
мираж
в пустыне сновиденья.

Туман,
а за туманом ночь,
где звезды страшно одиноки.
Ничем не может им помочь
их собеседник одноокий.
Темно.
Не в силах он открыть

свой глаз шестнадцатидюймовый.
Созвездьям некому открыть
весть о судьбе
звезды сверхновой.

Луну я видел
с той горы
в колодце чистого стекольца,
лежали
как в конце игры
по ней разбросанные кольца.
Исчезли горы и луна,
как фильм
на гаснущем экране,
и мутно высится
одна
обсерватория в тумане,

Я к башням подходил не раз,
к их кругосветным поворотам.
Теперь —
молекулярный газ,
смесь кислорода с водородом,
во все проник,
везде завяз,
живого места не осталось.

Туман
вскарабкался
на нас,
как Крабовидная Туманность.

Вчера,
когда закат погас,
я с поднадзорным мирозданием
беседу вел
с глазу на глаз,

Одно из наблюдений

Отцом среди своих планет
и за Землей следя особо —
распространяло Солнце свет
(но чувствовалось, что оно поеживается
от озноба).

В миллионы градусов озноб
пятнал сияющее тело
(иногда оно выбрасывало с васильками и
кашкою сноп
и беспристрастно вновь блестело).

Отцовски спокойное, оно заходило
за Монблан,
но багровело над Камбоджей,
и было ясно, что Земля
озноб испытывает тот же,

И я не мог ни лечь, ни сесть,
(По статистическим данным это происхо-
дило со всеми.)
Знобило, Тридцать семь и шесть.
Что делать? —
Всё в одной системе.

Солнце перед спокойствием

Беспокойное было Солнце,
 неспокойное.

Беспокойным таким не помнится
 испокон веков.

Вылетали частицы гелия,
 ядра стронция...

И чего оно не наделало,
 это Солнце!

Прерывалось и глохло радио,
 и бессовестно
врали компасы,
 лихорадила нас
 бессонница.

Гибли яблони, падал скот
 от бескормицы. Беспокойное
 в этот год
 было Солнце.

Вихри огненно-белых масс
 на безвинную Землю гневались.
Загоралась от них и в нас
 ненависть.

Мы вставали не с той ноги,
 полушалые... Грипп валил
 одно за другим
 полушарие.

Соляными столбами Библии
взрывы высились.
Убивали Лумумбу,
гибли
в петлях виселиц.

Ползать начали
допотопно
бронейщеры.
Государства менялись нотами
угрожающими.

Все пятнистей вставало Солнце,
тыча вспышками,
окружаясь
кольцами
концен-
трическими.

Рванью пятен изборожденное
безжалостно —
в телескопах
изображение
приближалось к нам.

Плыл над пропастью Шар Земной
в невесомости...
И казалось:
всему виной
в небе Солнце.

Но однажды погожим днем
было выяснено,

что исчезло
одно пятно
ненавистное,

Солнце грело
косым лучом
тихо, просто,
отболевшее, как лицо
после оспы.

Тревога

О, милый мир веселых птичьих гнезд!
Их больше нет.

Несчастливая планета
попала в дождь из падающих звезд
с диаметром
от мили до полметра.

Шальные звезды
мчатся вкривь и вкось,
шипят и остывают в мути водной.
Как много их, беспутных, пронеслось,
и ни одной
спокойной, путеводной.

— Тревога... —
рупор хрипло говорит.
Прохожих толпы прячутся в воротах.
Но где настигнет нас
метеорит?

Где нас раздавит ржавый самородок?

Уже так было с Дублином.
За миг
покончено с Афинами и Веной.

В секунду
камень огненный возник
и изменил пейзаж обыкновенный.

Проходит год,
и не проходит дождь,
И общая тревожность стала бытом.
Кто может знать, когда и ты найдешь
себя,
звездой безжалостной убитым?

Железо вылетает из небес.

А люди стекла круглые наденут
и шепчутся —

а может быть, не здесь?

А может, пролетят и не заденут?

Один сидит на башне, нелюдим,
считает блески мчащегося скопа.

Он — астроном.

Он всем необходим,
как врач с бессонной трубкой телескопа.

Среди все небо исписавших трасс
он вспоминает на седле тренога
тот тихий век,

когда пугала нас
наивная воздушная тревога.

В который раз

на снимке видит он
за миллионы километров сверху
кишащий метеорами район,
подобный

праздничному фейерверку?

А здесь,—

глаза двух полюсов кругля,
бежит, вздымаясь светом Зодиака;
огромная,
бездомная Земля,
побитая камнями,
как собака.

Бессонница Солнца

Плывет путем земным
Земля. Сияет день ее.
У Солнца ж бред:
за ним
ведется наблюдение.

Земля из-за угла
подстерегает диск его.
Схватила в зеркала.
Спустила вниз. Обыскивает.

Коронограф ведет
трубой по небу зрительной.
Земля
 себя ведет неясно,
подозрительно.

Зеркальные круги
преследуют. Исследуют
те ядра, о каких
планетам знать не следует.

Одной из полусфер
Земля в пятне пошарила.
Ушла. Следит теперь
другое полушарие.

Закрывать лицо Луной!

Чернеть еще надменнее!
(Доволен Шар Земной —
он ожидал затмения.)

Посты в горах. Досье
ведутся. Линзы глянули.
Фиксируются все
встревоженные гранулы.

Поднявшись в высоту,
захватывают атомы...
Как не взрываться тут?
Как не покрыться пятнами?
Протоны слать! Трубу
слепить протуберанцами,
волной магнитных бурь
глушить, глушить их рации!

Такой у Солнца бред,
как у людей в бессонницу.
Горячкой лоб нагрет.
Горит. К закату клонится

Бессонница Солнца

Освещен розоватым жаром
танцевального зала круг:
места много летящим парам
для кружащихся ног и рук.

Балерины в цветном убранстве
развешают вуалей газ,
это танец
протуберанцев —
C'est la dance des protuberances!

Пляшет никель, железо, кальций
с ускорением в тысячу раз:
— Schneller tanzen,
Protuberanzen!
Все планеты глядят на вас!

Белым пленникам некуда деться,
пляшет солнце на их костях,
это огненный пляс индейцев
в перьях спектра вокруг костра.

Это с факелом, это с лентой
и с гитарой для канцон,
и спиральный,
и турбулентный
в хромосфере встает танцор.

Из-под гранул оркестр как бацнет!
Взрыв за взрывом,
за свистом свист.

— These is protuberances dancing! —
длинноногих танцоров твист.
— Questo danza dei protuberanze! —
Это пляшут под звездный хор
арлекины и оборванцы
с трио газовых Терпсихор!

И затмения диск — с короной,
в граммофонном антракте дня,
где летим в пустоту с наклона —
мы с тобой —
два клочка огня!

Сожаление

Меня оледенила жалость!
Над
 потемневшею листвою
звезда-гигант внезапно сжалась
и стала
 карлицей-звездой.

Она сжимается и стынет
и уплывает
 в те миры,
где тускло носятся в пустыне,
как луны,
 мертвые шары.

Но прелесть ведь
 и красота ведь —
дрожат Весы, грозит Стрелец...
И это
 должен ты оставить,—
Вселенной временный жилец.

На смерть звезды

Известье по созвездьям
комета развезла:

— О, горе!

Умирает великая звезда.

В небесной панораме
с надеждой
на успех

она между мирами
светилась ярче всех.

О, как она сияла —

UW Большого Пса!

С брильянтами

тиара

слепила небеса.

Швыряла свой Аш-альфа

красавица

сия —

сияла, досияла и высияла вся.

Всю молодость без толка

растратила на свет,

и жить

осталось только ей 300 000 лет.

А 300 000 — звездам,

что людям —

3 часа...

Раскаиваться поздно,

UW Большого Пса!

напрасно посылала
лучи —
Спасите! SOS!

Зато уже посияла,
как 10 000 солнц!

И если в мире, где-то,
заметят
пышный свет —
не восторгайтесь — это
былого блеска след.

Какая неприятность!
Как бренно бытие!
Раскроем
Звездный Атлас
и вычеркнем ее!

На рождение звезды

О звезды!
В верхнем ярусе,
буквально среди нас —
звезда гигантской яркости
внезапно родилась.

Подумайте!
Вчера еще
там плыл туманный шар,
боками
подмерзающий
и погруженный в пар.

Из углерода с кремнием
там жили
существа,
проникшие со временем
в устройство вещества.

Таблицу Менделеева
продлили,
чтоб постичь
и вызывать деление
таинственных частиц.

Потом пошли испытывать.
На суше и воде
шар начал
тихо вспыхивать,
не весь, а кое-где.

Но существа работали
и лет за 25 —
свой способ
разработали
как звезды создавать.

И вот —
уран, плутоний ли,
вчера — в холодный пар
они устройство подняли
и бросили
на шар!

Удача!
Вспыхнул пятнами
сплошной огневорот,
разбушевались атомы,
зажегся
водород.

Хоть существа
расплавлены,
исчезнув навсегда,—
но способ
явно правилен —
имеется звезда!

Гиганты-звезды!
Карлики!
Сказать придется вам
спасибо
этим маленьким
упорным существам.

Какая новость ценная!

Какой эксперимент!

А в остальном

Вселенная

пока без перемен.

Гелиоскоп

Среди гальки и песков
стал расти
гелиоскоп.

Тропы крымские узки,
высоко стоит скала,
в жаркой чаше — лепестки
раскрывают зеркала.

Учится —
за солнцем в путь
оборачиваться он,
чтобы мог
на нем сверкнуть
с неба мчащийся фотон.

Бури солнца.
Пятна, След
от кипящего ядра.

А у нас простой рассвет,
луч рождения утра.

Две горстки звезд

Оказалось — в небе есть и я —
в горстке отдаленного созвездия —

Ореолом
засиял
бледный отблеск,
это я —

Альфа — я,
Бета — я,
Гамма — я,
Дзэта — я...

Через сто парсеков — звездных лет
твой ко мне донесся слабый след —

Через гущу
черноты —
свет бегущий
это ты —

Альфа — ты,
Бета — ты,
Гамма — ты,
Дзэта — ты...

Почему же не прошли насквозь
друг сквозь друга — эти горстки звезд?

Бездна! Где ж
эти мы?
Без надежд —
море тьмы!

Разлетелись
в стороны,
навсегда
разорваны —

Альфа — мы,
Бета — мы,
Гамма — мы,
Дзэта — мы.

Перед затмением

Уже я вижу
 времени конец,
начало бесконечного забвенья,
но я хочу
 сквозь черный диск затмения
опять увидеть солнечный венец.

В последний раз
хочу я облететь
моей любви тускнеющее солнце
и обогреть
свои дубы и сосны
в болезненной и слабой теплоте.

В последний раз
хочу я повернуть
свои Сахары и свои Сибири к тебе
и выкупать
в сияющем сапфире
свой одинокий,
свой прощальный путь.

Спокойного
 не ведал Солнца я
ни в ледниковые века, ни позже.
Нет!
 В волдырях,
 в ожогах,
 в сползшей коже
жил эту жизнь,
 летя вокруг тебя.

Так выгреб
из своего ядра

весь водород,
и докажи свой гений,
и преврати его в горящий гелий,
и начинай меня сжигать
с утра.

Дожги меня.
Я рад такой судьбе.
И пусть!
И пусть я догорю на спуске,
рассыпавшись,
как метеорит тунгусский,
пылинки не оставив о себе.

«Возьми свой одр»

Шел дождик после четверга,
тумана,
 ветра,
кавардака, во тьме,
 достойной чердака,
луна — круглей четвертака — неслась
 над пиком Чатырдагаб,

Обсерватория,
 с утра
раздвинув купол за работой,
атеистична
 и мудра,
как утренний собор Петра,
сияла
 свежей позолотой.

Синели чистые холмы,
над ними
 облако витало
в степных цветах из Хохломы,
и в том,
 что созерцали мы,
Мадонны только не хватало.

Как божье око,
 телескоп
плыл в облака
 навстречу зною,
следя из трав и лепестков,
обвалов,
 оползней,
 песков
за вифлеемскою звездою.

Здесь не хватало
и волхвов,
и кафедрального хора
ла, волов,
апостольских голов,
слепцов,
Христа,
и твердых слов:
«Возьми свой одр!» —
здесь не хватало.

Разные стихи

Над Кордильерами

Водопадствуя, водопад
низвергается, как низверженный,
и потоки его вопят —
почему они
 не задержаны!

Темный хаос
 земных пород
в глубочайших рубцах и трещинах,
самолетствуя,
 самолет
прорывается в тучи встречные,

И пока
самолет орет
турбодвигателями всеильными —
распластавшись внизу,
орел
кордильерствует над вершинами,

А по каменным их краям,
 скалы бурной водой окатывая,
 океанствует
 океан,
 опоясав себя экватором.

Горизонтствует

горизонт,
паруса провожая стаями,
гарнизон,
где жил Робинзон,
остаётся необитаемым.

И пока
на аэропорт
по кругам
самолет снижается —
книга детства в душе поет
и, как сладкий сон,
продолжается.

Вальпараисо

Початок золота и маиса —
Вальпараисо, Вальпараисо,
спиною к Андам,
лицом к воде —
тебя я видел,
но где, но где?

Вальпараисо, Вальпараисо!
А может быть,
я и здесь родился? —
где пахнет устрица,
рыба, краб,
где многотонный стоит корабль?

А может быть,
я родился дважды,
у Черноморья
(как знает каждый)
и также здесь,
у бегущих вниз
домов — карнизами на карниз?

Вальпараисо, Вальпараисо,
ты переулками вниз струишься,
за крышей крыша,
к морской воде,
тебя я видел,
и помню — где.

Тюк подымает
десница крана —
Одесса Тихого Океана!
Взбегает грузчик,

лицо в муке,
моряк за стойкою в кабаке.

Все так привычно,
все так знакомо,
а может, я не вдали, а дома?
Пора рыбачить,
пора нырять,
и находить,
и опять терять...

Но — на таинственный
остров Пасхи
глядят покрытые медью маски,
и странно смотрит
сквозь океан
носатый каменный истукан,

И черноморский скалистый берег,
и побережия
двух Америк,
и берег Беринговый нагой —
все продолжают —
один другой,

Вальпараисо, Вальпараисо!
О, пряность мидий
в тарелке риса,
о, рыб чешуйчатые бока,
о, танец
с девушкой рыбака!

И в загорелых руках
гитара,
и общий танец Земного Шара,

и андалузско-индейский взор
в едином танце
морей и гор!

В самолете

Никаких описаний,
никаких дневников!
Только плыть небесами
и не знать
никого.

И не думать, что где-то
 видел это лицо —
 коммерсантов, агентов,
 дипломатов, дельцов.

Плыть —
 простором ливийским
сквозь закат и рассвет —
пока пьет
 свое виски
полуспящий сосед.

Незнакомым простором
над песками пустынь —
рядом с ревом моторов
плыть с карманом пустым.

И глядеть — без желаний,
в пустоте синевы
на пустыню,
где ланей
ждут голодные львы.

А желать —
только чтобы
шли быстрее часы
и к асфальтовым тропам
прикоснулось
шасси,

И вернуться, вернуться,
возвратиться
скорей —
к полосе среднерусской,
к новой
песне своей.

И все это
нет, не лживо,
в мальчишеских пальцах
жив

Но лишь прояснится небо —
прочитанный,
он — как не был.

Закрыто,
мертво
и немо
лицо капитана Немо.

Птицы

Над Калужским шоссе
провода
телеграфные и телефонные.
Их натянутость,
их прямота
благодарностью
птиц переполнила.

Птицы к линиям
мчатся прямым
и считают,
щебеча на роздыхе,
будто люди устроили им
остановки
для отдыха в воздухе.

И особенно хочется
сесть
на фарфоровые изоляторы
(по которым
протянута сеть) —
от вечерней зари
розоватые.

Но случается
вспышка и смерть,
птицы
с провода
падают мертвые...

Виновата небесная твердь,
где коварно
упрятались молнии.

Люди здесь вообще ни при чем,
так как видела

стая грачиная
человека
над мертвым грачом
с выраженьем в глазах —
огорчения.

Текущий момент

А ведь момент действительно течет,
а не мелькает.

Медленно и долго
течет момент,
как маленькая Волга,
и в вечность все явления влечет.

Его частиц
непознаваем счет,
и может в нем теряться, как иголка,
частица счастья,
и крупица долга,
и боль,
что сердце надвое сечет.

Чушь!
Не течет момент,
И течь не должен.

Ни с места он
и вечно недвижим,
как лед,
который лыжами заскольжен.

Не убавляем он,
не растяжим,
не начат никогда
и не продолжен.

А это мы —
скользим,
течем,
бежим.

Переводческое

Ко мне взывает периодика —
нет ли какого переводика?

Но я боюсь! Переводить —
как в мир теней переводить.

И мнится мне, что переводчик —
Харон — чья холодна рука.

Он скорбной тени перевозчик
на брег чужого языка.

Нет, нет — я признаю заслуги!
Да, да мы подлинника слуги!

Но подлинник всегда один,
упрям и неперево́дим.

Ему на свете жить противно
поэмою переводной,
как не желает быть картина
картинкою переводной.

Вот на утесе Лорелея
в оригинале. А под ней
поддельной кисти галерея
позирующих Лорелей.

Мы сохранили точность
смысла.

А вот поэта нет. Он смылся.

Сейчас я говорю от имени оригиналов.

На звонки
ответствую — люблю стихи
предельно
не переводимые
ни на какие языки!

Вот их — во славу переводчества
переводить мне очень хочется.

Случай

Садился старичок в такси,
 держа пирог
 в авоське,
 и, улыбнувшись сквозь усы,
 сказал:
 — До Пироговской.

Он как бы смаковал приезд
и теплил умиление,
что внучка
широта поест
и сядет на колени.

Три рослых парня у такси
рванули настежь дверцу
и стали старичка тащить
за отворот у сердца.

За борт
авоську с пирогом
и старичка туда же,
и с трехэтажным матюгом —
Жми, друг,
куда покажем!

Стоял свидетель у столба,
как очередь живая,
он что-то буркнул про себя,
сей факт переживая.

Прошло
прохожих штуки три
в трех метрах от машины,
но что в них делалось внутри —
как знать —
они спешили.

Ждала их служба
или флирт? —
гадать считаю лишним,
а может, в них
бурлил конфликт
общественного с личным?

Про этот случай рассказал
мне — продавец киоска,
он видел,
как старик упал
и с пирогом авоська.

Он возмущался
громко, вслух,
горел, как сердце Данко,
но не вмешался,
так как лук
отвешивал гражданам.

Затем явился
некий чин,
пост на углу несущий, и молвил:
— Стыдно, гражданин,
уже старик, а пьющий.

Сумчатость

Среди рисунчатых
зверей и змей —
семейство сумчатых
не хуже, в сущности,
других семей.

Как мы с авоськами,
как мы с портфелями,—
у них к волосикам
мешки приделаны,
как наши прадеды
брели с котомками,—
у них, как правило,
сумы с потомками.

И этим многое
они выгадывают:
четвероногие
из сум выглядывают,
экономично,
тепло и правильно,
гигиенично
и комфортабельно.

И что ж, дражайшие,
выходит, ев сущности,
мы подражатели
семейству сумчатых.
Авоськи — дело!
И может быть —

придется к телу
их приживить.

Природа учит нас,
как жить по Дарвину
и эта сумчатость
не зря подарена,
в авоську просится
судак и лещ,
кто поавосистей —
тому и вещь.

Ему — распахивать
толпу у касс,
ему — запихивать
в суму запас!
От вымирания
огражден
тот, кто заранее
с мешком рожден.

Про белого ворона

Гнездо разворовано,
зимним ветром сорвано
, вот и белым вороном
сделался из черного.

С ним никто не водится,
ни зятя, ни девери,
и он сидит, как водится,
на отдельном дереве.

Вылететь из бора бы,
опуститься в городе,
где толются голуби
белоснежногорлые.

Посредине дворика
ходит пава гордая,
да не примет горлинка
ворона за голубя...

Все переговорено,
все переворошено,
зваться белым вороном —
ничего хорошего.

Русская песня

Как из клетки горлица,
душенька-душа,
из высокой горницы
ты куда ушла?

Я брожу по городу
в грусти и слезах
о голубых, голубых,
голубых глазах.

С кем теперь неволишься?
Где, моя печаль,
распустила волосы
по белым плечам?

Хорошо ли без меня,
слову изменя?
Аль, моя любезная,
вольно без меня?

Волком не достреленным
рыщу наугад
по зелёным, зеленым,
зеленым лугам.

Посвистом и покриком
я тебя зову,
ни ау, ни отклика
на мое ау,

Я гребу на ялике
с кровью на руках,
на далёких, далеких,
далеких реках...

Ни письма, ни весточки,
ни — чего-нибудь!
Ни зеленой веточки:
де, не позабудь.

И я, повесив голову,
плачу по ночам
по голубым, голубым,
голубым очам.

Смерть лося

Пораженный
пулей,
разбросал
свой мозг лось.
Смотрит на тропу
ель,
сердце с кровью
смерзлось.
Будто брат
умолк твой,
жжет слезами
жалость.
Плача мордой
мертвой,
на снегу
лежал лось.
Водкой бы
забыться,
лечь бы
и проспать!
Спусковой скобы
сталь
прикипела
к пальцам.
Нелегко
в беде лгать.
Воздух тих
и снег тих.
Братцы,
что ж нам делать?
Как прожить
без смерти?
Ель молчит,
но ей ли

разгадать мой возглас?

На снегу у ели

разбросал свой мозг
 лось.

Июньская баллада

День еще не самый длинный,
длинный день в году,
как кувшин
из белой глины,
свет стоит в саду.

А в кувшин
из белой глины
вставлена сирень
в день еще не самый длинный,
длинный
летний
день.

На реке
поют сирены
и весь день в саду
держит лиру
куст сирени,
как Орфей в аду.

Ад заслушался,
он замер,
ад присел на пенъ,
спит
с открытыми глазами
Эвридики тень.

День кончается не скоро,
вьется рой в саду
с комариной
Терпсихорой,
как балет на льду.

А в кувшин
из белой глины
сыплется сирень
в день еще не самый длинный,
длинный
летний
день.

Лесной перевертень

Летя, дятел,
ищи пи́щи.
Ищи, пищí!
Веред дерев
шща, тащи
и чуть стучи
носом о сон.

Буди дуб,
ешь еще.

Не сук вкусен —
червь — в речь,
тебе — щебет.

Жук уж
не зело полезен.
Личинок кончил?
Ты — сыт?
Тепло ль петть?
Ешь еще
и дуди
о лесе весело.

Хорошо. Шорох.
Утро во рту,
и клей елки
течет.

Частушка

Нет, не то золото,
что звенит как золото,
а вот то золото,
когда сердце — золото.

И не тот алмаз,
что лучист, как алмаз,
а кто чист, как алмаз,
мне милей, чем алмаз.

И не то дорого,
что ценой дорого,—
что душе дорого —
без цены дорого.

И не та красота,
что лицом красота,
красота — только та,
что во всем красота.

И не тот милый мой,
кто на час милый мой,
кто на век милый мой,
тот и милый, и мой.

И не то хорошо,
что себе хорошо —
только то хорошо,
что для всех хорошо.

Северный ветер

Подуло серым севером,
погнуло лес ветрами,
прощайтесь, листья, с деревом,
прощайся, сад, с цветами.

Пришла пора прощания,
дождя и увяданья,
вокзальное, печальное
«прощай» без «до свиданья».

В траве, покрытой листьями,
всю истину узнавший,
цветет цветок единственный,
увянуть опоздавший.

Но ты увянешь все-таки,
поникий и белесый,—
все паутины сотканы,
запутались все осы,..

Ты ж — паучок летающий,
циркач на тонком тросе,—
виси, вертись, пока еще
зимой не стала осень.

Заговорные стихи

Поработайте, снега,
на людей,
чтоб на каждые сто га
шли пахучие стога
в луговой страде.
Поработайте, снега,
на людей.

Поработайте, дожди,
на людей,
для пшеницы и для ржи,—
отличиться вы должны
и в своем труде.
Поработайте, дожди,
на людей.

Поработай и вода
на людей,
чтоб набрали невода
светлого, как никогда,
серебра сельдей.
Поработай и вода
на людей.

Поработайте, ветра
, на людей,
пригоните нам с утра
день счастливей, чем вчера,
всюду и везде.
Поработайте, ветра,
на людей.

Поработайте, слова,
на людей,
чтоб не никла голова,
как осенняя трава —
ни в какой беде,—
поработайте, слова,
на людей.